

М.А. ЛИТОВСКАЯ, Ю.В. МАТВЕЕВА
(г. Екатеринбург)

Н. БЕРБЕРОВА И В. КАТАЕВ: САМОИЗМЕРЕНИЕ НА ФОНЕ ЭПОХИ

Нина Николаевна Берберова и Валентин Петрович Катаев. Первое, что, без сомнения, объединяет этих писателей, – количество прожитых лет. В первом случае – девяносто два года, во втором – восемьдесят девять лет. Уцелевшие в шеренге поколения, последние из его могикан. Биография обоих сложна и замысловата, со своими лакунами и темнотами, однако в том и другом случае она крепко связана со своим веком, той культурно-исторической и социально-политической реальностью, которая его определяла. В романах и рассказах Н. Берберовой затранскрибирована жизнь русской эмиграции – в книгах В. Катаева находим поэтапное отражение всей советской истории; оба стали эмблематическим воплощением, соответственно, эмигрантской и советской литературной инерции, а в ней – олицетворением звена между культурой дореволюционной и постреволюционной, культурой начала и конца XX столетия.

Родившиеся в интеллигентных семьях – один в самом конце 19, другая – в самом начале 20 века, получившие традиционное для детей из подобных семей воспитание и гимназическое образование, в юном возрасте проявившие интерес к искусствам и впитавшие в себя разнонаправленные влияния российской художественной жизни начала века, они рано ступили на путь профессионального писательства и не сходили с него до конца. Прожившие долгую жизнь профессиональные литераторы пробовали себя в разных жанрах, работали в литературе один детской, другая – документальной, не гнушались журналистикой, принимали весьма активное участие в общественной жизни. Оба они всегда были на виду: красавица-жена Владислава Ходасевича, энергичная участница литературных собраний и эффектный предпринимчивый одессит с живым характером не оставались незамеченными в писательском сообществе Парижа и Москвы 1920-30-х годов. При том что критики неизменно отмечали их талант, ни Катаев, ни Берберова, судя по всему, особой любовью в своем кругу не пользовались. Сегодня уже трудно определить, что было тому причиной: независимость характеров, раздражавшая удачливость, язвительность, но постепенно, к середине 1940-х годов, и за Берберовой, и за Катаевым закрепилась слава почти дурная.

К многочисленным нелестным личностным характеристикам со временем стали – и это было почти неизбежно в политизированную

эпоху – добавляться уничижительные оценки социального поведения Берберовой и Катаева, среди которых наиболее часто встречавшимися были обвинения в соглашательстве с преступными действиями властей, коллаборационизме, нередкие в русской традиции, где противостояние власти считается одной из неотъемлемых составляющих писательской добродетели¹.

Проблема репутации становится «больным местом» для этих творцов, тем более что обоим на грандиозном фоне эпохальных трагедий, в конце концов, удалось выжить и даже преуспеть². Не касаясь здесь вопроса о правомочности выдвинутых против них обвинений, заметим, что они задевали обвиняемых и побуждали их к ответной реакции. Эти ответы носили характер прямой полемики; выражались в определенных поступках, к каковым, видимо, можно отнести и отъезд Н. Берберовой в 1950-м году в США, и работу В. Катаева в качестве главного редактора вновь образованного журнала «Юность». И все-таки главным и наиболее существенным «ответом» оказалась попытка писателей самим объяснить свой жизненный путь в литературных творениях, написанных ими на склоне дней.

Для читателей, привыкших к определенному стилю Берберовой и Катаева, их произведениям 1960-х – 1980-х годов, когда писательская и человеческая репутация уже устоялись, а сопутствующая литературной деятельностью – преподавательская у Берберовой и редакторская у Катаева – продвигались более чем успешно, стали достаточно неожиданными. Автобиография Н. Берберовой «Курсив мой» и автодокументальные книги В. Катаева: «Святой колодец», «Трава забвенья», «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», «Алмазный мой венец», «Кладбище в Скулянах» предложили читателям авторские варианты истории собственных жизней. «Поздние» произведения стали безусловной вершиной творчества каждого из авторов.

Перенесенная Катаевым на рубеже 1950–60-х тяжелая болезнь подстегнула ощущение ограниченности отпущенного человеку времени, когда самое важное и значительное за множеством повседневных дел может так никогда и не сказаться. В литературу пришли новые молодые литераторы, для которых поколение Катаева стало уже историей, что не могло не обострить осознание уникальности собственного жизненного опыта. Катаев остался одним из немногих свидетелей на-

¹ См. об этом, например: *Будницкий О.В.* «Дело» Нины Берберовой // НЛЮ. – 1999. – № 39. – С. 141-173; *Ронен О.* Берберова (1901-2001) // Звезда. – 2001. – № 7. – С. 213-220.

² Примечательно, что одним из косвенных доказательств «вины» и Берберовой, и Катаева современники считали их благоприобретенные квартиры в Париже и Москве и дачи – в Лонгшене и Перedelкино.

всегда ушедшей жизни, которая быстро забывалась или мифологизировалась. Со свойственной ему памятью к деталям, испытанные ощущения, Катаев оказался бесценным свидетелем ушедшей эпохи. Кроме того, он нес в себе утраченный дух «веселых двадцатых», которые в период «оттепели» начинают восприниматься как золотой век советской литературы. Наконец немалую роль в формировании «новой прозы» могло сыграть желание Катаева «тряхнуть стариной», показать свой нерастрченный к тому времени писательский потенциал.

Будучи человеком осторожным и авантюрным одновременно, В. Катаев опробует новую форму письма в книге на беспроницаемую тему. «Маленькая железная дверь в стене» (1960–1964) была посвящена жизни В. Ленина, хотя и начиналась вызывающим по тем временам заявлением «Ленин – мой современник». Она прошла почти незамеченной, но уже в 1965 году повесть «Святой колодец», отвергнутая журналом «Москва» как памфлет, ходила по Москве в рукописи, своей неожиданной смелостью, политическими намеками, многозначностью вызвав шум в интеллигентских кругах. Репутация В. Катаева – общественного деятеля к тому времени была достаточно негативной, писатели оппозиционного толка оценивали его осторожность как реакционность, а гибкость как сервильность. В соответствии с любимой тогда идеей литературной гибели мастодонтов соцреализма в новых общественных условиях Катаев должен был замолчать. Вместо этого он пишет буквально один за другим тексты, которые, впрочем, также пытаются оспорить, обвиняя Катаева в этических просчетах³, несамостоятельности⁴, трюкачестве, «демонстрации мастерства, не одушевленного истинным жизненным содержанием»⁵. Но изменившийся с середины 1950-х годов характер взаимоотношений писателей и литературных критиков позволил В. Катаеву работать в избранном им направлении, не оглядываясь особенно на недоброжелательную реакцию части критики, тем более что она шла вразрез с нарастающей популярностью «новой прозы» у широкого читателя.

Определенным жизненным рубежом стали 1950–60-е годы и для Н. Берберовой. Послевоенная жизнь в Париже, переезд в Америку дали ей, по-видимому, нелегко. Свидетельствует об этом ее проза (рассказ «Большой город», повесть «Черная болезнь») и особенно ее «проговоры» в «Курсиве», когда нищенская самоуверенность нет-нет, да изменяет героине, и слова ободрения, а то и утешения вдруг становятся

³ Дудинцев В. Две магии искусства // Литературная газета. – 1966. 13 авг.

⁴ Сарнов Б. Угль пылающий или кимвал бряцающий // Вопросы литературы. – 1968. – № 1.

⁵ Денисова Н. Необычайные метаморфозы в трех измерениях // Литературная газета. – 1969. 28 июня.

ся для нее первостепенными: «И теперь ты должна жить так, как будто одна на всем свете уцелела. Никого нет, все погибли. У тебя, как у меня. А мы с тобой живы»⁶. Берберову явно угнетала «пустынность» послевоенного бытия: разрушились отношения с Николаем Васильевичем Макеевым; во время войны в СССР умерли ее родители; превратились и деформировались многие человеческие связи; на фоне этого нарастает «материальная безнадежность». Но и в Америке первое, что ожидает писательницу, – отсутствие языка, денег, постоянного вида на жительство.

«Курсив» писался поверх этого всего, когда цели оказались достигнуты, интеллектуальное и материальное благополучие наступило. Как для большинства уцелевших из их поколения, для Н.Берберовой настало время «собирать камни». И если ее современник из СССР ощущал себя носителем памяти и пассионарного заряда «золотого века» советской литературы, то и Берберова, конечно, чувствовала себя вышедшей из «золотого века» литературы русской эмиграции. Ей было о чем и что вспоминать. Как и для Катаева, главным вектором ее автодокументального мышления стал вектор интенсивный – автобиографический, а не экстенсивно-мемуарный. В значительной степени к этому побуждал историко-литературный контекст, ведь, как считала Берберова, все лучшие книги XX века писались о себе. Но была здесь, думается, и другая причина, глубоко субъективная, к которой можно отнести и своеобразие психологического склада, и, быть может, простое желание объяснить, наконец, *urbi et orbi* самое себя.

Самообъяснение Берберовой, как и самообъяснение Катаева, крайне раздражило ее современников, многие из тех, кто был настроен по отношению к ней вполне миролюбиво, вдруг превратились в ее врагов. Именно выход «Курсива» «отлучил» ее от «Нового журнала» на 20 лет. Но точно так же, как в случае с Катаевым, писательница уже не зависела от суждений своих оппонентов и критиков – известность ее росла, способность писать не иссякала, уверенность, что «Курсив» – ее главная книга, не покидала ее до конца жизни⁷.

И для Берберовой, и для Катаева «третий возраст» оказался самым свободным и от этого необычайно продуктивным, как будто предыдущая жизнь каждого из них была его неизменным залогом. Оба вступили не просто в полосу припоминания и подведения итогов, но в полосу настоящего творческого обновления.

⁶ Берберова Н. Курсив мой. – М., 1996. – С. 542. В дальнейшем будет цитироваться по этому изданию с указанием в скобках страницы.

⁷ Накануне приезда Н. Берберовой в Россию в 1989 г. Ф. Медведев записал с ней интервью. Один из вопросов был – Какую из ваших книг вы считаете главной? Берберова ответила – Конечно, «Курсив»! // Курсив мой. Автобиография. Указ. изд. – С. 620.

Ко времени создания «новой» прозы В. Катаев уже имел огромный человеческий и писательский опыт, который заставил его не просто стремиться к передаче «подлинности» чувств персонажей, но к созданию своей, частной истории XX века. Фронт, тюрьма, знакомство с ярчайшими людьми эпохи, активная жизнь в искусстве, страх, ликование, зависть, отчаянье были ему известны не понаслышке. Долгая жизнь обострила ощущение быстротекущего времени: умирания, распада людей, отношений, предметов, городов, слов. Присутствие при нескольких кардинальных поворотах истории, неизменно связанных в логоцентричной стране с ее переписыванием, с одной стороны, укрепили его веру в существование исторического движения как некоей надличностной силы, с другой – усилили ощущение относительности интерпретации даже, казалось бы, непреложных фактов. Это создает предпосылки для сотворения своего варианта истории «сына века», которая, как любая история, может переписываться, варьироваться, меняться в зависимости от точки зрения наблюдателя.

Так, действие в «Святом колодце», формально выстроенном на обнажении конструктивного принципа записанного сновидения, содержательно развертывается вокруг истории удаления некоей опухоли – метафорического изображения освобождения души героя от той грязи, что выросла в ней за долгую жизнь. В итоге душа обнаруживает готовность к новой жизни, и – это важно в контексте поздней катаевской прозы – решающим в высвобождении духа оказывается обращение к воспоминаниям о ранней юности. В 1970-е годы В. Катаев уделяет особое внимание созданию личной мифологии, сводя, по его собственному выражению, счеты с собственной юностью, друзьями, временем. Он разгадывает скрытые смыслы и закономерности своей судьбы, осваивая реальность, уже вошедшую в сознание и существующую в ней в виде воспоминаний и сложившихся представлений. Писатель со всей обретенной к тому времени честностью предлагает читателю свои представления о тех ролях, что оказываются для него наиболее значимыми в контексте его персональной истории. «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» (1972), «Кладбище в Скулянах» (1975) и «Алмазный мой венец» (1978) представляют своего рода автобиографическую трилогию.

Многократно рассуждая о том, что «неизмеримо громадное, сложное тело, все его тайны, тысячи, миллионы его нервных узлов, зрительных, обонятельных механизмов, мозговых центров»⁸ постоян-

⁸ *Катаев В.* Собр. соч.: В 10 т. – М., 1976. – Т. 6. – С. 366. В дальнейшем произведении В. Катаева будут цитироваться по этому изданию с указанием в скобках номера тома и страницы.

но приносят человеку все новый и новый материал, оседающий в нем; признавая, что ему «не под силу заполнить этими жалкими обломками своей и чужой памяти... неизмеримую вечную пропасть вечности и пространства» (6, 376), повествователь приходит к необходимости поиска «векторов», в рамках своей собственной судьбы. Он выделяет несколько ролей: разночинца – сына разночинца, офицера – сына дворянина и поэта – друга поэтов, которые, как ему кажется, сыграли особую роль в его судьбе. При всей внутренней противоречивости выделенных им «силовых линий», ему важно, что они вместились в одну жизнь, повлияв на нее, определив судьбу героя. В Катаев создает цельные образы детства, жизни «братства левантинцев» 1910–1920-х годов, рода, которые являются предметом его гордости, поскольку ему удалось проявить скрытые смыслы этих явлений.

Так же, как и В. Катаев, Н. Берберова ставит себе двуединую задачу – с одной стороны, написать историю собственного самопознания, а с другой, – воссоздать те внешние по отношению к себе события и силы, которые, беря начало в сфере социально-исторической, направляли и предопределяли ее собственное бытие. Если Катаев пишет «исповедь сына века», то Берберова – историю женщины своего столетия. Для обоих идея физической (по дате рождения) и интеллектуальной связи со своим временем является определяющей. Оба почти бравировуют своей зависимостью от катастроф века. «Какой бы я ни был, – говорит о себе В. Катаев в «Граве забвенья», – я обязан своей жизнью и своим творчеством Революции. Только ей одной» (6, 327). Бунин, как вспоминает писатель, может быть, «первый в мире заговорил о потерянном поколении». «Но, – продолжает он, – наше русское – мое – поколение не было потерянным. Оно не погибло, хотя и могло погибнуть. Война его искалечила, но Великая Революция спасла и вылечила» (6, 327). Н. Берберова, принадлежащая этому же, вопреки всякой логике, не погибшему поколению, в своих высказываниях, естественно, намного свободнее, ей не приходится оглядываться на конъюнктуру идеологического толка, но пафос ее тот же: «Я знаю, что многие судят этот век иначе. Но я сейчас говорю не о мировом благополучии или о счастье жить в своей стране, а о чем-то более широком. Как женщина и как русская, где, в каком еще времени могла бы я быть счастливее? [...] Я нахожусь в центре тысячи возможностей, тысячи ответственностей и тысячи неизвестностей. И если до конца сказать правду – ужасы и бедствия моего века помогли мне: революция освободила меня, изгнание закалило, война протолкнула в иное измерение» (33).

Глобальные исторические события века и его интеллектуальные импульсы становятся определяющими вехами в судьбе и внутреннем

развитии героини Берберовой, идеями века она питается и одновременно с ними полемизирует. Причастность времени, а не родовому гнезду и не семейным узам декларируется уже в самом начале книги, в главе «Гнездо и муравьиная куча», где патриархальному существованию в «гнезде» однозначно противопоставлена жизнь в «муравьиной куче», говоря словами Л. Толстого, жизнь «роевая».

Как героини ее рассказов и романов, как впоследствии «железная женщина» Мура, героиня «Курсива» – прежде всего сильная героиня. О своей внутренней силе, о своем «чугунном» ядре, о своем неизменном здоровье и недюжинной выносливости Берберова упоминает не однажды: «Я знаю, что мне, фактом моего рождения, был дан этот электрический заряд, колоссальный заряд громадной силы, если принять во внимание долголетие, здоровье, самосознание и возможность – до сих пор – моего самоизменения, и что в миг, когда его не будет, – его не будет» (30-31). Кроме того, героиня «Курсива» явно присваивает себе ряд традиционно мужских качеств, поэтому, собственно, и может сказать о себе: «Я никогда не страдала от того, что родилась женщиной». В десять лет посещает ее мысль о необходимости выбрать себе дело, «суровое чувство профессии»; во все периоды своей жизни она оставляет за собой право «ответственного выбора»; она отрицает всяческую аффектацию – «экзальтацию и меланхолию», «всяческие фата-морганы»; она строит свои семейные отношения на равных в финансовом смысле («Я зарабатываю, что могу, и он зарабатывает, что может»); она любит машины и механизмы – «моторы, подъемные краны, цементные мешалки, молотилки и лино типы»); наконец главным для нее является стремление к личной свободе, ради которой героиня Берберовой согласится скорее на одиночество, нежели на подчинение. Только личная свобода в ее представлении может обеспечить искомое «состояние связи с миром». В конечном счете героиня приходит к жесткому, но и ответственному выводу: «Только в себе можно найти то, на чем можно (и нужно) стоять, да еще, может быть, крепко прихватив другого кого-нибудь, прижав его к себе, помогая ему не соскользнуть...» (266).

Если В. Катаев в «Святом колодце» повествует о мучительном освобождении себя от тех наносов времени, которые едва не скрыли внутреннее «я» героя, то Берберова всячески подчеркивает, что своей внутренней свободы в главном никогда не теряла. В связи с этим понятна очевидная противоположность их личной символики: у Берберовой это не человек-дятел, не говорящий кот, но гордая фигура на носу корабля, бедный Лазарь, Товий и Ангел, слитые воедино. Катаев прибегает к эзопову языку, Берберова – к библейскому, Катаев подчеркнута социален, Берберова – подчеркнута экзистенциальна. Сliš-

ком разной была их среда обитания – культурного, идейного, социально-бытового. При всем том, во внутренней логике, во внутренней мотивировке их самопознания есть некая фундаментальная общность – и для одного, и для другого процесс самопознания является одновременно и процессом самоочищения. Как и В. Катаев, Н. Берберова сознательно вводит этот мотив, доводя его порой до откровенной декларативности: «...я хотела писать – не для читателя-друга, а для очищения себя, если успею познать себя перед тем, как *только* умереть» (266); «И вот все мои преступления, слитые с наказаниями, бывшие достоянием меня одной, принадлежат теперь всем тем, кто захочет коснуться их, заглянуть в эти страницы» (604).

Мотив освобождения себя – личностного, психологического, морального, социального – и у Катаева, и у Берберовой сопряжен с поиском адекватного эстетического самовыражения – раскрепощением творческим. Это выглядит естественно, поскольку оба автора трактуют свои судьбы как судьбы писателей-профессионалов. Процесс формирования и переформирования мифа о себе для обоих связан с процессом формирования и переформирования собственной манеры письма, а она и у позднего Катаева, и у поздней Берберовой не только меняется, но и вообще становится резко своеобразной.

Вспомним, что В. Катаев привлек внимание к своим текстам, которые почти сразу же определили как «новую прозу», в первую очередь, формальными поисками, непривычными и неожиданными для советской литературы на излете «оттепели». Книги его и раньше отличались открытым автопсихологизмом, но именно с середины 1960-х годов писатель начинает эксперимент, который задним числом можно было определить как поиск особой формы письма для автобиографического «подведения итогов». Вряд ли в своих поисках он был верен, как уверяли позже недоброжелатели, некоей моде «убогой, для бедных, применительно к политически-эстетическим возможностям перерисовываемой из недоступных публике журналов спецхрана, западных и старых наших»⁹, или что он эту моду создавал. Скорее, он действительно искал некую новую форму, которая позволила бы ему выразить тот содержательный багаж, что накопился у него к этому времени. Об этом свидетельствует, в частности, и открытое указание на источники, которыми он пользовался для реализации своих замыслов (от В. Розанова до А. Барбюса), и происходящая на глазах читателя шлифовка формы, и постепенное ее изменение в соответствии с изменениями внутренней проблематики текстов. Не случайно тема бесконечного

⁹ *Найман А.* Рассказы об Анне Ахматовой. – М., 1999. – С. 379.

поиска истинного писательского раскрепощения становится отдельным предметом рефлексии в «Кубике».

Важнейшей задачей последнего этапа катаевского творчества становится нарушение «условностей» литературы, которые осознаются им как устаревающие. Отказ от щегольства, эффектности ради «высшей простоты исполнения, которое уже не ощущается как труд, а становится чистой поэзией» (10, 575) создает новые возможности для «поисков подлинности». Он даже находит определение этому типу простоты – «простодушная прелесть» (10, 562) и повторяет его, как заклинание, в статьях, интервью, пока ему не удастся приблизиться в «Спящем» и «Сухом лимане» к письму «простому и строгому». Оно позволяет воссоздать подлинность сознания, преломляющего, интерпретирующего реальность, рефлексирующего по поводу самого этого акта и осознающего принципиальную невозможность адекватного восстановления «разбитой жизни».

Н. Берберова, будучи автором многочисленных статей и рецензий, неоднократно излагала собственные взгляды на литературу. Выделяется среди них по своим программным установкам статья «Набоков и его «Лолита», где «четыре элемента» «литературной периодической системы» XX века в том виде, в каком их видела писательница, обрели свои окончательные формулировки: «Эти четыре элемента – интуиция разъятого мира, открытые «шлюзы» подсознания; непрерывная текучесть сознания и новая поэтика, вышедшая из символизма»¹⁰. До «Курсива» оставалось еще 10 лет, но нет никаких сомнений, что он тоже писался в соответствии с этой, обнаруженной у Набокова, системой творческих принципов – правил – ориентиров.

Берберова отстраняется от ближайшего литературного окружения – автобиографических текстов своих соотечественников: «Русские автобиографии писались часто и всегда по-разному. [...] Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех, прежде меня писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом и водить моим пером» (432). Весь пассаж о «русских автобиографиях» проникнут иронией, равно низвергающей автобиографии Бердяева и Набокова, фрейлин царицы и сподвижников Ленина. Во всяком случае, Берберовой хочется написать «сагу о своей жизни» без их посредства, без всякой с ними связи не только в настоящем, но и в будущем.

Как и В. Катаев, в своей поздней автобиографической прозе Берберова поднимается над самой собой, оглядываясь не только на лич-

¹⁰ Берберова Н.Н. Набоков и его «Лолита» // Берберова Н.Н. Бородин; Мыс бурь; Повелительница; Набоков и его «Лолита». – М., 1998. – С. 340.

ную жизнь, но и на все, ею написанное. В сфере творческого бытия здесь тоже происходит самоочищение – избавление от довлеющих стереотипов и влияний, случайных напластований и увлечений. Как, опять-таки, Катаев, Берберова судит себя строго, или, во всяком случае, трезво, относясь к ранее созданному почти отчужденно, сугубо профессионально, находя в ранних своих текстах «полную неопытность слова» (402), «следы Гоголя, Зоценки, «Скверного анекдота», Антоши Чехонте», признавая «сверх всякой меры» влияние Достоевского (402).

Берберову и Катаева многие обвиняли в субъективизме, уличали в неточностях, упрекали в видении мира и людей сквозь призму своего «я», однако эти авторы отнюдь не претендуют на объективность, напротив, только и повторяют: «Эта книга – история моей жизни»; «Я пишу о себе». Другое дело, что благодаря громадному культурному контексту, благодаря поступательному движению исторического времени, эта манифестируемая субъективность неизбежно нуждается в пояснении.

Литературный текст зависит от множества привходящих обстоятельств: структуры личности творца, импульсов, посылаемых культурой, историей, современностью. Ни одно из осознаний бытия не оказывается приоритетным, они существуют по принципу взаимодополнения. Их достоинства измеряются только степенью точности, то есть попадания в резонанс с возможностями и ожиданиями читателя разных времен. Это требует от творца способности к независимости и готовности к пророчеству. Масштаб видения входит в «состав» таланта гениев, у «малых сих» он может возникать биографически: долгая жизнь, тем более жизнь «в культуре», естественно возникающий эффект «дежа вю» помогают обнаруживать скрытые связи и пружины движения давно ушедшей современности. Это дает возможности построения своего варианта истории, правда, не выходящего за рамки личного опыта, который также будет субъективным, а значит, в некоем абсолютном смысле, неистинным.

Больше ста лет прошло со дня рождения и В.П. Катаева, и Н.Н. Берберовой, но с течением времени страсти, кипящие вокруг этих имен, так и не утихают. Небесспорность репутаций двух известнейших в своем поколении и в своем веке писателей была первым импульсом к тому, чтобы написать о них под общим заглавием, соединив парадигмой типологического сопоставления. Приглядевшись, можно обнаружить и более глубокое, более внутреннее, более мотивированное сходство – концептуальную идентичность их творческих судеб.